

Моек. правда. - 1998 - 4 марта. - с. 6

Смеяться страшно, плакать — некому слез утереть

1. Полюби эту вечность болот

«В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне». Так начинается «Кладовая солнца», любимая сказка моего детства. Весной 1945 года был объявлен конкурс на лучшую книгу для детей. 72-летний Михаил Михайлович Пришвин (23.1./14.2/1873, имение Хрущево, Елецкого уезда Орловской губ., - 16.1.1954, Москва) весь победный месяц май рассказывал историю, которая соответствовала общественному настроению и была признана лучшей: это и есть «Кладовая солнца». Он записал в дневнике: «9 мая. День Победы и всеобщего ликования. Все мои мысли о связи живых и мертвых... Пишу свой рассказ для детей».

Помню первое детгизовское издание; оно у меня было: брошюра большого формата в мягкой обложке (одновременно «Кладовая солнца» появилась в «Библиотеке «Огонька»). Сюжет был первоначально очень простой: «брат и сестра пошли в лес за клюквой, их тропы в лесу разделились, дети заспорили и разошлись. Вот и все. Остальное

навернулось на этот сюжет само собой во время писания», вспоминал автор. Имеется в сказке были (определение жанра также дано Пришвиным) то, от чего спадко замирает детское сердце, - головокружающие приключения малолетних героев, требующие мужества. С тех пор пришивские Митраша и Настя вошли в мою жизнь, можно сказать, навсегда. Не сразу найденное емкое название - образ обогатившего молвой болота. Образ так объяснен автором: «Однажды в далеком прошлом я встретил, как находку, в одном ученом исследовании упоминание торфяных болот, хранящих в себе огонь и тепло, кладовой солнца. Ученый не претендовал на изыскание художественного образа, он назвал явление точно». Мотив болота, «плохого», ненужного, вредного, всю творческую жизнь был для Пришвина частью волнующей все человечество темы: двойственность прогресса. В 1923 году он побывал на сельскохозяйственной выставке и записал: «Загадочные впечатления были в болотном отделе мелиорации, при входе известное стихотворение Гете из «Фауста», в котором прославляется дело осушения болот (это заключительный монолог Фауста: «До гор болото, воздух заражая, / Стоит, весь труд испортив угрожая. / Прочь отвести гнилой воды застою - / Вот вышший и последний подвиг мой!..», перевод Н.Холодковского. - В.П.) - дальше следуют демонстрация дубельных свойств болот, затем способы осушения и, наконец, результат осушения: здоровая, покрытая злаками равнина. И вот я заметил наверху над всем этим строку из стихотворения Блока, которой прославляется мощь болот». (Очевидно, из «Пузырей земли»: «Полюби эту вечность болот. / Никогда не иссякнет их мощь...».) Пришвину, облеченному постромантизмом, был ближе мрачный пафос Блока, чем несколько натянутый финал гениального и любимого им «Фауста». Это подцензурно, в завуалированной форме, с поздней осторожностью, выявилось в «Кладовой солнца»: «Вот какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают /.../ что в них будто бы

черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей».

Однако кладовая солнца более широкий образ. Это для Пришвина вся природа, весь мир. И личность, и творчество: «боль моя перестала, - мой торф поспел» («Журавлиная родина»).

Сам он высоко ценил свою сказку-быль и знал, что читать ее будут и через сто лет, как новое.

И дети, и взрослые.

Мне, городскому мальчику, не суждено было прочувствовать «Кладовую», как чувствуют, должны чувствовать ее деревенские дети. Они трудятся сизмалу, еще и охотятся. У них гуще и глубже опыт общения с природой да не с дачной, не с прирученной. У них больше личных ассоциаций.

В дачном быту нет заповедных трясин, где люди тонут, как чужие не утонув Митраша в Слестной елани. Уж не говорю про Серого помещика - мистического волка, которого убивает мальчик: охотничью мечту я и во взрослой-то жизни не осуществил, хотя удивил однажды насмешливых туркмен тем, что попал с одного выстрела в цель (стреляли в пустыне в бутылку, во что же еще, и все автохтоны промахнулись).

Из трясин Митрашу спасла охотничья собака Травка. Это кульминационный момент: «мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу /.../ Травка с безумной силой рванулась, и она была вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно вызволенный, не схватил другой рукой ее за другую ногу». Пришвин знал, о чем пишет, - похожий случай произошел с ним и попал в исповедальный «дневник охоты» «Натаска Ромки» (1926 - 1927).

Вхождение Пришвина в детскую литературу препятствовал влиятельный Маршак. В 1936 году Пришвин жаловался Горькому в Крым: «Маршак /.../ сказал, что Пришвин /.../ не является в своих вещах для детей писателем интересным и понятным». В лице Горького Пришвин хотел «приобрести авторитетного союзника в борьбе за русский язык». Эту борьбу, по его словам, ему навязала жизнь. Вынужденный вступить в полемику против обезлички слова и сужения словаря, Пришвин, по выражению Шкловского, «смял Маршака». Навязанная война стоила Пришвину много нервов. (Скажу в скобках, что в 40 - 50-е годы Маршак закулисно препятствовал публикациям Бориса Заходера.) Обвинение в непонятности, адресованное Пришвину, объяснимо только в контексте общей унификации и наступления масскультуры. Пришвин своим языком справедливо гордился. Делство и юность он провел в Елецком уезде. На орловской земле выросли Тургенев, Тютчев, Фет, Лесков. Затем - Бунин. Это не случайность. Здесь, говорил Бунин, в плодородном подстепе древние московские цари, защищаясь от южных татар, создавали заслоны из переселенцев различных русских областей и благодаря этому образовался богатейший русский язык.

Обычно Пришвина забывают включить в славный перечень писателей-орловцев. Имена-то какие, каков масштаб! Думаю, имя Пришвина должно стоять вслед за бунинским (он на три года младше Бунина). К нему относится сказанное Аделиной Адалис о Елене Благиной, тоже орловке, немало повоювавшей, отстаивая свой словарь и стилистику: ее речь, писала Адалис, открывает читателю помыслы и чувства, столь часто остающиеся скрытыми, бездыханными, не проявленными у литераторов, иногда и талантливых, но не способных породниться с читателем из-за просчетов в языке. Горький - Пришвину: «И прекрасный Ваш язык говорит через разум читателя прямо душе его» (1923).



2. Власть как «сила греха»

Боюсь, что, увлекшись детскими воспоминаниями, я дал повод думать, что вижу в Пришвине главным образом писателя для детей. Конечно же, нет. Я люблю, можно сказать, почти всего дореволюционного Пришвина и многое из послереволюционного, прежде всего «Жень-шень», «Кашею цепь», особенно «Курымушку». И «Корабельную чащу», куда перешли из «Кладовой солнца» Митраша с Настей. И «Глаз земли», о них Пастернак отзывался: «Я стал их читать и поражался, насколько афоризм или выдержка, превращенные в изречение, могут много выразить, почти заменяя целые книги» (1957). А в новое бесцензурное время открылось, что Пришвин - айсберг; две трети прячутся в дневниках. Они очень обширны, это второе собрание сочинений. Один дневник 1936 года - почти 500 страниц. Без них не понять Пришвина.

В послесталинские годы советские критики подчеркивали, может, и с лучшими намерениями, что Пришвин - певец советской жизни, певец социализма. Это грубая ложь. Как говорят, туфта. Остро и верно сказал о Пришвине прозаик Борис Ямпольский: «Он, как громадный лось, укрылся в лесу и питался почками». Укрылся от советской жизни, от социализма.

В юности Пришвин пережил увлечение левым движением. Был членом марксистского кружка. Даже в тюрьме посидел. Однако после 1902 года от эсдеков отошел: «...Революция и рабочее движение - все это оказалось для меня необязательным /.../ я не обязан этому». Октябрь 1917-го он, зрелый, 44-летний, воспринял как народную и свою личную трагедию. В соотечественники, вы-

глядывающем из-за спины социалиста, обнаружил черты Князя Тьмы. Сказал: «Новое революции тем только ново, что повелевает глубже заглянуть в древнее, вечное, ломая старое, она показывает древнее», то есть звериное в человеке. Увидел комиссара с мутными смердяковскими глазами и обобщил: «В лице и целях революции - Смердяковщина» (1918). Он чувствовал себя Евгением из «Медного всадника», через которого «перескакал» Пушкин, прославляя царя Петра. Это главная тема Пришвина: противоборство государства и человека, который отстаивает свою личную свободу в эпоху тотального подавления личности.

От матери Пришвину достался под Ельцом небольшой участок земли. Здесь он занялся домостроительством, собирался жить, трудясь на себя в небольшом хозяйстве. Не тут-то было. У него вскоре отняли «и землю полевую, и пастбище, и даже сад». Дом стал тюрьмой; по вечерам Пришвин заслонял окна досками, чтобы не подстрелил кто-нибудь через окно. «... И записал в дневник свой так: «Звезда жизни моей единственная почернела, а коровушку мою принципиально зарезали мужики». Настроение было ужасное: «в темной комнате на диване один лежу и думаю про какого-нибудь английского писателя, например про Уэльса, что сидит он на своем месте и творит, а я, русский его товарищ, не творю, а живу в кошмарах и вижу жизнь без человека. /.../ Я в плену у жизни и верчусь, как василек на полевой дорожке, приставший к грязному колесу нашей русской телеги». Это написано, когда он отправился в Елец похлопотать, «чтобы не выгнали» из дома, а в его отсутствие пришла «выдворительная».

1918-м датирован короткий диалог: «- Где человек? - Человек в землю ушел». Это значит: «как собака иногда прячет лишнюю корку, зарывает свои запасы». Пророчество о Ленине: «Наполеон погиб в России от мороза: он хотел спасти человечество и погиб от мороза. Ленин погибнет от голода, спаситель человечества, в этой же России».

Мы свидетели - пророчество сбылось: социализм оказался

экономически несостоятельным и был отвергнут Россией. Земля не хотела быть общей, человек самодельный вернулся к самодельности.

Еще запись 1918 года, вводящая в самую суть мировоззрения Пришвина: «Я всегда чувствовал безнадежную серость русской жизни и какое-то тупое культурных работников. Пусть все гибнет, что подлежит гибели и что хочет гибнуть, это гибнет частное, я отделяюсь от него и прославляю жизнь. Я не нуждаюсь в богатстве, славе, власти, я готов принять крайнюю форму нищенства, лишь бы остаться свободным, а свободу я понимаю, как возможность быть в себе...»

Пришвин еще не знал, что грядет новая массовая трагедия: раскрестянивание России, коллективизация. Он стал летописцем этой трагедии. Действие дневника 1930 года происходит в деревнях под Загорском, под Переславль-Залесским. Дневник, который в пору озглавить строк-вопросом: «Неужели опять доведут до людоедства?» Пришвин читал «Робинзона»: «чувствую себя в СССР, как Робинзон /.../ только /.../ потому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов». Он запомнил слова крестьянина: «смеяться страшно, плакать - некому слез утереть». И сформулировал свою социальную статистику, отнюдь не марксистскую: «Среди бедняков 50% природных лентяев». Размышлял над падением Троцкого: «Троцкий погиб, потому что был недостаточно прост для власти нашего времени: власть как «сила греха» является нам олицетворением палача и жертвы. В мирное время палач маскируется».

Наведывался в Москву. Встречал писателей - Булгакова, Лидина, Казина. «Предсказывают, что писателям будет предложено своими книгами (написанными) доказать свою полезность Советской власти». Он комментировал: «Очень уж глупо! Но как характерно для времени: о чем думает писатель! Вскоре это сделалось как бы нормальным, привычным. Он замечательно охарактеризовал Сталина, что не должно пройти мимо историков: «Вот человек, в котором нет даже и горничного зерна литературно-гуманного влияния: дикий человек Кавказа во всей своей наготе. Мистика погубила царя Николая II, словесность погубила Керенского, литературность - Троцкого. Этот гол, прям, честен, вообще прост, как полицейский пристав из грузин царского времени».

Москва поражала Пришвина своим раздроганным бытом. Он подробно описал полтора часа, проведенные в «самой видной» столовой в самом центре; в этот день было мясное блюдо; но соус был слишком острым; он ушел голодным: «Я бы не пожалел никаких «страшных денег», чтобы только избавиться от очередей. Эта еда и всякие хвосты у магазинов - самый фантастический кошмарный сон какого-то наказанного жизнью мечтателя о социалистическом счастье человечества». В магазинах не было товаров, очереди собирались часа за два до открытия. «До сих пор наш социализм еще ничего не творил, он прозябает, как паразит, на остатках капитализма...»

Что-то трудно припомнить другого писателя первой половины XX века, который оставил бы такие свидетельства.

Пришвин очень любил мать. Мать для него олицетворяла радость. Именно радость, а не

счастье. Из образа матери вырастал образ родины. Раскожий, банальный! У Пришвина почему-то не банальный. Звено 12-е «Кашею цепь» («Как я стал писателем») начинается трогательной главой «Мать-родина». Читаем: «Мальчишкой, бывало, проснусь раньше, чем следует, и в дырочку алькова смотрю на лицо матери. Она тоже проснулась, но в одиночестве она совсем не такая, какой мы все ее знали: странная, смутная, лоб сморщен, думает до того мучительно, что нет-нет и вздрогнет. Так станет страшно, забудешься, высуешь голову к ней, и она вдруг обрадуется, засияет, совсем будто солнце взошло».

Самое страшное место в его дневнике связано с матерью. Оно следует за вырезкой из «Известий» за 26 августа 1936 года: приведен в исполнение приговор по делу троцкистско-зиновьевского блока. «Отклик» академика Вильямса: «Не звать! Особо бдителными быть к так называемым «раскаившимся» из троцкистско-зиновьевского охвостья!» Пришвину приснились похороны матери. Колесо везущей гроб телеги попало в колдобину, и гроб полетел на сторону. «А тело, скажите, как тело?» - в ужасе повторял я, не смея глянуть в ту сторону. «Тело выехало» - ответили мне. Я решил посмотреть и увидел, что ноги матери моей задраны вверх и медленно, как будто тело отталкивает, опускаются. Пришвин размышлял: «Есть ли это безобразное совпадение независимо-случайная игра сонной фантазии, или оно является выражением моей внутренней нескладности, а может быть, моей сейчас особенно сильной тревогой за существование моей родины-матери? /.../ Я люблю свою родную страну Россию, но социализм я любить не могу, и никто это не может любить...»

Случалось ли Пришвину крикнуть душой? Сам бы я такой вопрос не задавал никогда, но читатель вправе спросить. Один из друзей Пришвина, писавший о нем до революции, после революции ничего не написал. Знаю, почему, заметил Пришвин: «единственное слово, которое мог бы он сказать - это: «подкоммунивает» (1936). Немало здесь горечи...

Чтобы ныне оценивать Пришвина, надо его сначала прочитать. Увы, недосуг. И вряд ли широкая публика догадывается, каков этот неповторимый прозаик. Сколько радости способен дать.

До конца жизни Пришвин продолжал грезить о переменах, о процветании России. В 1953-м «Новый мир» потребовал от 80-летнего писателя переработки «Корабельной чащи». И он занес в дневник: «Хотел отказаться от переделки и уйти от всей этой «литературе», вроде Пастернака, в подполье или принять все, как опалу, и воевать из своего угла, как воинственный Капица, но так подумал. У Капицы высшая физика, которую никто не понимает, у меня же искусство слова, его тоже мало кто понимает, но судить автора позволяют все. Мое положение много труднее, и едва ли в мои годы хватит сил выдержать борьбу».

Последнее выступление Пришвина на писательском пленуме 25 октября 1953 года огласили за него - приехать в Москву из деревни Дунино он был уже не в силе. За несколько недель до смерти пожелал родине-матери скорейшего освобождения деятельности инициативы. Освобождения от страха.

Владимир ПРИХОДЬКО.